

# Александр Гуторов

---

## "Маленький человек" в русской литературе XIX века

---

Studia Rossica Posnaniensia 17, 23-46

---

1982/1983

Artykuł został zdigitalizowany i opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

АЛЕКСАНДР ГУТОРОВ

Харьков

### „МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК” В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Несмотря на частое употребление словосочетания „маленький человек”, его литературоведческий смысл еще до конца не определен.

В учебнике *Истории русской литературы первой половины XIX века* проф. А. Н. Соколов, характеризуя лермонтовского персонажа как бы мимоходом замечает: „Максим Маскимыч — один из тех »маленьких людей«, которых вслед за Пушкиным стала изображать русская литература”<sup>1</sup>.

Вряд ли такое утверждение можно воспринимать в терминологическом значении. Максим Максимиыч — „обыкновенный, простой, скромный”, как о нем тут же говорится, в сопоставлении с Печориным, возможно, и мог показаться „маленьким человеком”, но он лишен основополагающих родовых черт этого литературного характера. Белинский назвал Максима Максимиыча типом „чисто русским”, что дает основания в какой-то плоскости сравнивать его с Печориным без всяких скидок на какую бы то ни было несостоятельность или ущербность первого.

„Маленький человек” не определяется лишь его отношением к человеку большому или значительному. Вряд ли на основании непосредственной близости к Дон-Кихоту Санчо Пансо нужно квалифицировать его слугу как „маленького человека”.

„Маленький человек” — одно из значительных достижений мирового искусства, и осознавая его в собирательном значении, как некий единый образ, „сверхтип”, Л. Лотман приравнивает его к Гамлету и Дон-Кихоту<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> А. Н. Соколов. *История русской литературы XIX века*, т. 1, Москва 1965, с. 103.

<sup>2</sup> Л. М. Лотман, *Реализм русской литературы 60-х годов XIX века*, Ленинград 1964, с. 109.

Данный „сверхтип” стал появляться в литературе сравнительно поздно. Ни в героических песнях, ни в богатырском эпосе, ни в античной драматургии его не было, поскольку изображались в первую очередь боги, пророки, герои, короли. Его появление можно отметить лишь в литературе эпохи Возрождения, но и здесь, как и в народных сказках, это было скорее „присутствие”, жанровая сфера его художественного бытия также была весьма ограниченной. Социально-психологическая и художественно-эстетическая характерность такого типа сформируется в искусстве еще позже.

Однако религиозно-моралистическая концепция человека „сирого” и социально неблагополучного (ср. в польском языке *szary człowiek*) сформировалась уже в период государственно непризнанного христианства, а некоторые элементы социального понимания такого типа имели место и в более ранней религиозной идеологии (к примеру, в псалмах Давида — за перевод одного из них *Властителем и судиям* едва не пострадал в свое время Г. Р. Державин).

Представление о литературном статусе „маленького человека” то и дело осложнялось как нравственно-религиозной, так и в разных вариантах социально-идеологической (революционно-демократической и охранительно-государственной) его концепциями. Это не могло не влиять как на литературную практику, так и на характер критических оценок данного сверттипа. В России XIX века, помимо революционно-демократической, а ранее еще и декабристской, была известна самодержавно-охранительная трактовка простого человека. Последняя представляла простолюдина в умильном облике трудолюбивого хлебопашца, верного сына отечества, хранителя религиозно-нравственных и самодержавно-государственных устоев (по мнению официальных историографов простой русский народ всегда демонстрировал даже во времена смуты свою приверженность православию и престолу).

Теперь если в самых общих чертах попытаться построить литературную модель „маленького человека”, то она вместит в себя, во-первых, социальную характеристику — можно полагать, что принцип социальности, основанный на противопоставлении персонажей такого типа сильным мира сего и прививался в литературе, благодаря ее вниманию к людям обездоленным, униженным и забытым. Во-вторых, психологический мир „маленького человека” ущербен, его самочувствие и самосознание включает своеобразный комплекс человеческой и социальной неполноценности. Наконец, в-третьих, нельзя не отметить, что авторское отношение к такому литературному герою проявляется как выражение сочувствия и сострадания.

Внутри данной модели могут конечно быть внутренние противоречия и отклонения. На первый план может выдвигаться одна из упомянутых характеристик — все зависит от времени, художественной системы и творческой установки. Тем не менее лишь серьезные нарушения одного из упомянутых выше художественных принципов ведут к разрушению модели, способствует

потере персонажем своего типологического статуса. Так случилось, думается с лермонтовским Максим Максимычем, которого А. Н. Соколов ошибочно, представил как „маленького человека”. Область национального характера в которой может осознаться лермонтовский герой, слишком широка для рассматриваемого здесь „сверхтипа”.

Русская дореалистическая литература с ее *Бедной Лизой* Карамзина и немудреным открытием автора, что и „крестьянки любить умеют”, положила начало теме „маленького человека”, выразила характерное противоречие между социально-детерминированным подходом к представителям низкого сословия и очевидной человеческой сущностью этих последних. Отношение автора к крестьянам, хотя и не лишено чисто барского удивления, но сочувственное, опирающееся на принципы христианской любви к ближнему и гуманизма такого типа. Однако социальный мир героини карамзинской повести ощутимо сужен и в значительной степени идеализирован. Общечеловеческое в ней еще не очень убедительно соотнесено с конкретно-историческим и социальным. Вот почему *Бедная Лиза* скорее предваряет весьма перспективную для русской литературы тему, чем сколько-нибудь полно ее осваивает.

Радищев, в отличие от Карамзина, в своем *Путешествии из Петербурга в Москву* с большой силой как раз подчеркивает нищету и социальное бесправие русского крестьянина, его христианский гуманизм ведет к революционным выводам. Однако нравственно-психологический мир русского хлебороба той поры представлен эскизно — социальная угнетенность и забитость персонажей мешают им в каком-то значимом масштабе осознать даже весь ужас своего положения — у них отнято право на духовную жизнь. И тут у автора есть своя логика. Поэтому и эмоционально-нравственная оценка изображаемого связана здесь с субъектом, с автором-рассказчиком. И в этом произведении мы имеем дело скорее с существенными элементами модели „маленького человека”, чем с ее классическим образцом.

Декабристы и ранний Пушкин — времен написания *Деревни* — все еще не могут преодолеть своеобразную дистанцию между народом и „другом человечества”, избавиться от восприятия страдающего брата как бы со стороны. Но к 30-м годам прошлого века литература уже была достаточно и идейно — декабристская идеология — и художественно — творчество Карамзина и Радищева — подготовлена к созданию впечатляющего образа интересующего нас „сверхтипа”.

В советском литературоведении принято считать, что предстал этот „сверхтип” в своем законченном виде в *Станционном смотрителе* Пушкина. Его, очевидно, и имеет в виду цитированный уже здесь проф. А. Н. Соколов. Такая концепция нуждается все же в существенных оговорках и уточнениях. Тема „станционного смотрителя” к моменту выхода пушкинского рассказа была не нова. Она нашла выражение и в „сентиментально-нравоучительной” повести В. Карлгофа *Станционный смотритель* (1826 г.), „идеализирующей, по-

мнению В. Виноградова, образ зрителя по сентиментальному трафарету<sup>3</sup> и в романе Ф. Булгарина *Иван Выжигин*. В этом произведении станционный зритель требует взятки у проезжих и по этому поводу происходит неприятный разговор с ним проезжего офицера Ниловичина. В. Турбин отметил своеобразные стилистические „отталкивания” Пушкина от повести В. Карлгофа и его довольно открытую полемику с Ф. Булгариным<sup>4</sup>. Тот *Станционный зритель* не удовлетворял Пушкина, поскольку В. Карлгоф несмотря на ряд привлекающих внимание конкретно-бытовых реалий, писал не только в традициях сентиментализма, но и занимал чересчур уж внешнюю по отношению к своему персонажу позицию. Теперь — и Пушкин это хорошо понимал — требовалось проникновение вглубь человеческого характера, раскрытие его как бы изнутри. Соответствующий эпизод из романа Ф. Булгарина не мог быть принят Пушкиным не только в силу своей очерковости. Пушкина не устраивала не только литературная, но и нравственная позиция Ф. Булгарина. Его „станционный зритель” был чересчур деструктивным по отношению к „маленькому человеку” и в жизни, и в литературе. Ф. Булгарин подчеркнуто бесцеремонно расправлялся и с нерадивыми, с его точки зрения, представителями социальных низов, и с выходцами из светской знати — она ведь порождала декабристов. Он превозносил достоинства человека среднего класса, преданного отечеству и престолу, примерно такого, каким был его „Иван Выжигин” и сам автор, со всеми своими житейскими неурядицами и невзгодами. Пушкинская мораль была изначально выше булгаринской. Недаром его Татьяна старалась помогать бедным и в этом усматривала одну из своих добродетелей.

Литературный контекст пушкинского *Станционного зрителя* включал в себя и пролическое выражение П. Вяземского, поставленное эпиграфом к повести — „Коллежский регистратор — почтовой станции диктатор”, и многие реалии должностной жизни чиновника четырнадцатого класса, которые уже ввели в литературный обиход предшественники по теме:

Суший мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутиливо князь Вяземский? Сушая каторга. Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на зрителе. (...) Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей? ... боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! (...) Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> В. В. Виноградов, *Стиль Пушкина*, Москва 1941, с. 468.

<sup>4</sup> В. Н. Турбин, *Пушкин. Гоголь. Лермонтов. Об изучении литературных жанров*, Москва 1978, с. 69-72.

<sup>5</sup> А. С. Пушкин, *Собрание сочинений в 10 томах*, т. 5, Москва 1975, с. 73.

Очевидно, социальное положение зрителя и вытекающая отсюда его юридическая незащищенность и были в данном случае причиной того, что им пренебрегли как человеком, сунули за обшлаг пачку ассигнаций и вытолкнули на лестницу, а он даже не пожаловался, как советовал ему приятель, не стал искать защиты у закона — сказалась социальная психология.

На первый взгляд, Вырин — типичный представитель галереи маленьких людей в русской литературе. И однако нельзя не видеть его своеобразной нехарактерности. У персонажа как бы две тесно связанных одна с другой роли: первая служебная, определяющая его материальное положение и социальный статус, другая — семейная, роль отца, дающая ему как будто большую свободу действия — право выбора. Зритель терпит не столько социальную драму в полном смысле слова, сколько драму нравственно-психологическую, обусловленную, конечно, обстоятельствами жизни, но не сводимую всецело к ним. Кто мог ожидать, что его единственная дочь Дуня — за ее судьбу он и пекся более всего на свете — не выброшена на улицу, не умирает с голода, живет счастливо и благополучно, — и вместе с тем окажется такой бездушной по отношению к своему престарелому отцу?

Уж не на нее ли с зятем несчастный отец должен подавать теперь в суд? Здесь нравственные законы, а не юридические определяют в первую очередь поступки и душевное состояние персонажа. Пушкинский станционный зритель восходит не к гоголевской *Шинели* и Акакию Акакиевичу, а к героям Толстого и Достоевского, где несчастья, скажем, таких людей, как Анна Каренина обусловлены совсем не однозначным гнетом социальной среды, а противоречиями и самой осознающей себя в жизненных обстоятельствах личности, ее возрастающими требованиями к жизни, ее моральным превосходством в известном смысле над своей средой.

В. И. Ленин в письме к И. Арманд указывает на различие между типизацией научно-социологической и литературно-художественной, опираясь, очевидно, при этом на опыт классической русской литературы: „У Вас вышло не противопоставление классовых типов, а что-то вроде „казуса“, который возможен, конечно, но разве в казусах дело? Если брать тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи — эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов). А в брошюре — дело в объективных классовых отношениях, а не в Ваших субъективных желаниях”<sup>6</sup>.

Однако в пору выхода в свет пушкинского *Станционного зрителя* научная социология была еще недостаточно развитой, кроме того, социальные представления читатель мог почерпнуть, особенно в России, только из

---

<sup>6</sup> В. И. Ленин, *Письмо к И. Ф. Арманд от 24 января 1915 года*. В кн.: Полн. собр. соч., т. 49, с. 56 - 57.

честных литературно-художественных произведений. Поэтому революционно-демократическая критика была склонна подчеркивать в литературных произведениях прежде всего социальный смысл, рассматривать героев литературы как продукт социальной среды. Белинский, посвятивший немало великолепных статей поэтическому творчеству Пушкина, о *Повестях Белкина* отозвался прохладно, считая их перпевами Карамзина, недостойными ни таланта, ни имени Пушкина: „ Повести Карамзина имели для своего времени великое значение, а *Повести Белкина* ниже своего времени”<sup>7</sup>.

„Натуральная школа”, вдохновляемая Белинским, была в значительной степени школой социологической. Ее устремленность к выражению в литературном творчестве социальной психологии и некоторая недооценка значения психологии индивидуальной были очевидны.

Разбирая *Бедных людей* Достоевского, где Макар Девушкин высказывает свои суждения, как о *Станционном смотрителе* Пушкина, так и о *Шинели* Гоголя, Белинский все же считает Достоевского прямым продолжателем Гоголя, а его персонажа — преемником Поприщина и Башмачкина. Да и сам Достоевский в ту пору вполне соглашался с таким мнением.

Гоголевская *Шинель*, появившаяся вскоре после *Станционного смотрителя* Пушкина, совершенно соответствовала задачам социальной типизации изображаемых явлений, которые позже поставит перед литературой революционно-демократическая критика. Тут не только служебная роль и связанное с ней служебное положение находились в центре внимания автора. Гоголевский персонаж решает как будто посильную, но одновременно и очень трудную для него задачу — приобретение столь необходимой чиновнику шинели, задачу соответствующую материальному статусу „маленького человека”, имеющую в конце концов такой роковой для него исход и огромный обобщающий социально-литературный смысл.

Психология Акакия Акакиевича так же мелка и ущербна, как его служебное положение. Он неразвит как индивид, у него нет ни жены, ни друзей. Авторское сочувствие персонажу как бы довершает типичную и осознанную уже модель изображения „маленького человека”.

Социальное положение Акакия Акакиевича кажется в гоголевском изображении совершенно безысходным, хотя будучи титулярным советником, что в табели о рангах соответствовало 9-ому классу, персонаж этот был на целых пять ступеней выше Самсона Вырина и Хлестакова, выше Печорина и Максима Максимыча (военные, правда, обеспечивались лучше), превосходил Акакий Акакиевич по званию и многих русских литераторов — Пушкина в период службы на юге, Лермонтова, Гоголя. Но как бы там ни было, служил-то он все же в Петербурге, где платили ему 400 рублей годовых, а не

---

<sup>7</sup> В. Г. Белинский, *Сочинения Александра Пушкина. Статья однанадцатая и последняя*. В кн.: Полн. собр. соч., т. 7, Москва 1955, с. 577.

в какой-нибудь Можайской канцелярии — по ее отчету, обнаруженному М. Зощенко в *Голубой книге*, — в 1807 году счетоводы получали жалованья три рубля в месяц, а некоторые чиновники от рубля — до двух<sup>8</sup>.

С точки зрения конкретной социологии Акакий Акакиевич фигура столь же характерная, как и нехарактерная в чиновничьем мире. По своим способностям он статистически ниже среднего канцеляриста, поэтому товарищи по работе то и дело подшучивают над ним, их групповая психология отличается от индивидуальной психологии Акакия Акакиевича — человека странного, ограниченного, неженатого в пятьдесят лет. Но старому холостяку возможно, было бы и проще свести концы с концами, если бы он был не Акакий.

Характер межличностных социально-психологических отношений с наибольшей силой проявился в реакции Значительного лица на просьбу Башмачкина — помочь в поисках украденной шинели. То, что для Значительного лица было лишь пробой сил в новой для него генеральской роли, долженствующей повергать в трепет всякую канцелярскую мелочь, стоило, наряду с уворованной шинелью, бедному чиновнику жизни.

Манера гоголевского повествования построена на отталкивании от приторности сентиментального стиля. Весьма осязаемый здесь второй план создается за счет разницы в восприятии происходящего человеком со здоровой психикой и — с психикой ущемленной. Даже персонаж Достоевского Макара Девушкин, не совсем удовлетворенный прочитанной *Шинелью*, воспринимая описанное в ней как истинное происшествие, философски объясняет упомянутый выше эпизод:

А так как разные чины бывают и каждый чин требует соответственной совершенно по чину распекании, то естественно, что после этого и тон распекании выходит различный, — это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет не стоял бы и порядка бы не было<sup>9</sup>.

Как видим социальные роли *Шинели* поняты Макаром Девушкиным довольно верно, вплоть до некоторой их актерской нарочитости.

Юмористическая окраска гоголевского повествования, фантастический план изображения уводили все же писателя от сурового реализма и свидетельствовали о немалой литературности его создания. Однако современников больше привлекал конкретно-исторический социальный план этого произведения.

В сложившейся в 50-е годы революционной ситуации, Чернышевский, стремясь поднять дух у живых „маленьких людей”, призвать их к активному действию, пытается лишить гоголевского персонажа ореола мученичества и сострадания. Критик подходит к Башмачкину строго социологически, оставив в стороне авторское сочувствие и сострадание. И его разбор показывает, как

<sup>8</sup> М. М. Зощенко, *Избранное в 2-х томах*, т. I, Ленинград 1978, с. 205.

<sup>9</sup> Ф. М. Достоевский, *Бедные люди*. В кн.: Полн. собр. соч., т. I, Ленинград 1972, с. 63.

мало по сути нужно, чтобы развенчать классический вариант изображения типа „маленького человека” в русской литературе — изменить угол зрения, лишить персонажа авторского милосердия — некоей прерогативы дворянских писателей — и нет этого расслабляюще действующего на осознающую свою силу массу литературного характера, столь привлекательного своим страданием:

Упоминает ли Гоголь о каких-нибудь недостатках Акакия Акакиевича? Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей, от которых зависит его судьба... Акакий Акакиевич погибает от человеческого жестокосердия. Так, — подлецом бы себя счел Гоголь, если бы рассказал нам о нем в другом тоне (...)

Разве можно было бы как-нибудь в самом деле улучшить жизнь Акакия Акакиевича? Служа писцом, он получал малое жалованье, так. Что же можно было сделать, чтобы дать ему повышение по службе, сделать, например, помощником столоначальника? Помилуйте, ведь начальник хотел бы сделать это, но Акакий Акакиевич оказался решительно неспособен ни к чему лучшему, кроме жалкой должности писца. (...) Он был круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему неспособный. Зачем же Гоголь прямо не налегает на эту часть правды об Акакии Акакиевиче — на эту часть правды, выставленную нами, невыгодную для Акакия Акакиевича?

Таково было отношение наших прежних писателей к народу. Он являлся перед нами в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть, который получает пользу себе от нашего сострадания<sup>10</sup>.

„Разоблачение” Чернышевским художественных принципов и позиции Гоголя а заодно с ним — Тургенева и Григоровича, ибо все это, по словам критика, насквозь пропитано запахом *Шинели*, имело конкретно-исторический смысл, как всякая проверка литературы с позиций жизни, политики и социологии, как попытка в предреволюционной обстановке настроить литературу на строго социальную типизацию и держать художественное творчество в кругу злободневных общественных проблем. Очевидно, здесь давала себя почувствовать и необходимость возникновения политической литературы, задачи которой отличались бы от задач художественных. И это своеобразное разделение труда в русском общественном сознании и революционной практике вскоре осуществится.

Но если перенестись в 40-е годы прошлого столетия, то литература в какой-то период брала на себя задачи социологической оценки жизни. На фоне физиологических очерков писателей „натуральной школы” гоголевский Башмачкин выглядел нехарактерным, чересчур вымышленным, литературным персонажем. Давала себя знать и его странная психическая индивидуальность — „идиотизм” в определении Чернышевского — и великолепная пластика его геморроидального портрета, и, наконец, фантастическое окончание повести, делающее чиновника легендой. Хотя Гоголь и считался основопо-

<sup>10</sup> Н. Г. Чернышевский, *Не пачало ли перемены? Рассказы Н. Успенского*. В кн.: Полн. собр. соч., т. VII, Москва 1950, с. 857 - 859.

ложником „натуральной школы”, далеко не все из его наследия было ею принято. Тот же Хлестаков или Кувшинное рыло — чиновники, стоящие ниже Башмачкина на иерархической лестнице, не чувствовали себя безнадежно „маленькими людьми”.

Сам Белинский отмечал опасность натуралистического копирования жизни у писателей данного направления. Современники из других литературных лагерей, не питавшие симпатией к „натуральной школе”, упрекали ее авторов в обезличивании персонажей, говоря современным языком, — в победе принципов социологической типизации над способами литературно-художественного обобщения: „Это все типы, т.е. имена собственные с отчествами: Аграфена Петровна, Мавра Тереньевна, Антон Никифорович, и все с заплывшими глазами и отвисшими щеками, — писал, например, Ю. Самарин”<sup>11</sup>.

Достоевский конца 70-ых годов, вышедший „из *Шинели* Гоголя”, по его собственным словам, и начавший свой творческий путь в русле, намеченном „натуральной школой”, также возражал против „мышления эссенциями”, против речевого и социально-психологического обобщения без индивидуализации, против понимания человека исключительно как „продукта среды”, что снимало в какой-то мере его индивидуальную ответственность за свои дела и поступки в жизни, а в литературе приводило к неестественным сгущениям человеческого характера — „эссенциям”.

Может, по этой причине молодому Толстому жизнь студентов, купцов, кучеров, каторжников и мужиков казалась время скучной и неинтересной.

Чиновничий вариант темы „маленького человека” в литературе великолепно воплотил сам Достоевский в своих *Бедных людях*. Здесь психологический мир чиновника и людей его круга был так освещен изнутри, что некоторые исследователи видят в персонажах этой повести уже нечто от человека большого, если не великого<sup>12</sup>.

Макар Девушкин, как и Варенька Доброселова, правда, в силу разных причин, осознают свое человеческое достоинство. Понимание ими жизни как бы не соответствует их социальному статусу, конечно, жить они бы могли лучше и достойней, если бы все было устроено по справедливости. Однако центробежные силы, коренящиеся в сознании персонажей, а к концу и в поступке Вареньки, в границах повести еще не столь сильны, чтобы разрушить представление об этих героях повести Достоевского как о „маленьких людях”. Это все же характерные ипостаси рассматриваемого здесь одного типа. Другое дело — Раскольников. Больной, нищий студент, живущий в отвратительных бытовых условиях, он как будто, на первый взгляд, соответствует основным представлениям о характере „маленького человека”. Но осознание

---

<sup>11</sup> Цитирую Л. Лотман, указ. соч., с. 205.

<sup>12</sup> См. например: Г. М. Фридлиндер, *Реализм Достоевского*, Ленинград 1964, с. 54.

им условий общественной жизни и достоинств своей собственной личности, постановка совершенно гигантских целей уж никак не вяжется со статусом интересующего нас типа. Осознанная им необходимость преступления и его совершение заставляют содрогнуться читателя и автора, начавшегося было повествование от первого лица, но затем заменившего его на третье. В Раскольникове все же воплотилась непомерная „гордость бедных”, порождаемая тяжелыми материальными и социальными условиями бытия, но лишь на основании одной характерной для маленького человека черты его нельзя рассматривать как разновидность рассматриваемого здесь „сверхтипа”.

Переход к изображению „маленького человека” из среды крепостного крестьянства, осуществленный в конце 40-ых-начале 50-ых годов Григоровичем и Тургеневым, был чрезвычайно важным в социальном повороте темы — положение подневольного крестьянина было куда ужаснее положения самого мелкого и забитого чиновника. Приходится порою удивляться, что русская реалистическая литература начала эту тему будто не с того конца, несмотря на существование радищевской традиции. Причина, конечно, кроется в условиях существования самой литературы.

На первых порах и Григорович, и Тургенев как будто бы продолжают очерковые традиции „натуральной школы”. В художественном отношении их произведения порою уступают и пушкинским *Повестям Белкина* и гоголевским петербургским повестям. Л. Лотман правильно отметила как движение литературы во времени, так и появление в ней персонажа иного социального свойства. Однако в конкретном анализе исследовательница пошла по пути прямолинейно-упрощенного сопоставления произведений писателей и преувеличения заслуг последователей за счет умаления достижений предшественников:

*Записки охотника* в изображении народа явились шагом вперед по отношению не только к *Мертвым душам* Гоголя, но даже к его *Шинели*. Если в *Шинели* бедный чиновник — „маленький человек” назван братом „мыслящего и социально благополучного человека” и в фантастическом окончании повести ему как раз по плечу „генеральская шинель”, т.е. по своей сути, по человеческим своим данным он оказался равен генералу, то у Тургенева господам Полутыкину, графу Валериану Петровичу, Пеночкину, Зверкову оказываются не по плечу армяки Хоря и Калиныча, Ермолая или Бирюка, Касьяна или Яши Турка<sup>13</sup>.

Идея равенства и братства людей в русской литературе была высказана задолго до Гоголя. В плане общей социологии русской литературы пафос Л. Лотман можно понять. Что же касается социологии личностной, методикой которой пользовались интуитивно и Достоевский и Чернышевский, то, по мнению последнего, Акакий Акакиевич не равен, в силу своих „человеческих данных” не только генералу, но и помощнику столоначальника, каковым хотел сделать этого персонажа другой генерал.

<sup>13</sup> Л. М. Лотман, указ. соч., с. 116.

Вообще прием персонального сопоставления, к которому порою прибегает Л. Лотман, далеко не во всех случаях вызывает одобрение и уводит от решения вопроса:

Весь пафос первых крестьянских повестей Григоровича в том и состоял, что крестьянин, будучи по своей способности чувствовать, по своей жажде счастья и по всем духовным качествам равным помещику, оказывается на положении бесправного, загнанного, запуганной и падающего от непосильной работы животного. Конечно, у Григоровича крестьянин был изображен с симпатией, а его гонитель, будь то помещик, управляющий или мельник-кулак с антипатией, но крестьянин и помещик представляли в его повестях прежде всего свое положение<sup>14</sup>.

Далее речь идет о *Записках охотника* и отсюда как бы сам собою напрашивается вывод, что Тургенев во всех отношениях выше Григоровича. Это не совсем верно. Современные нам исследователи отмечают некоторую очерковость *Записок*, особенно первого рассказа *Хорь и Калиныч*. Недоброжелательная критика прошлого века отождествляла обоих авторов и склонна была отказывать их произведениям на крестьянскую тему в художественности, усматривая там попытку излагать „экономические явления в форме повестей, романов и драм”<sup>15</sup>.

Представления о художественности в ту пору были более узкими. Однако некоторая очерковость и социологическая характерность, даже публицистичность в характеристике крепостнической системы — явления чисто социального, в какой-то мере как будто даже абстрактного, но влияющего со всей неукоснительностью обстоятельств на человеческие судьбы, недостаточно персонифицированного в лицах, ощущается.

Поэтому часто и называют рассказы из *Записок охотника* очерками, имея в виду и не совсем тот авторский смысл, который придавал своему литературному приему Тургенев. Например, в *Хоре и Калиныче* мы встречаем чисто очерковую характеристику крестьян Орловской губернии и „каллужской породы”. И Полутыкин здесь еще никакой — он в основном „представляет свое положение”, если воспользоваться словами Л. Лотман о персонажах Григоровича. Хорь относился к помещику сдержанно, а Калиныч благоговел перед своим господином. Сознание крестьян еще таково, что вряд ли тут по всем линиям можно говорить об их превосходстве перед своими притеснителями. Поначалу Тургенев как бы раздумывал, не пойти ли ему по пути персонального сопоставления маленьких по своему положению людей, у которых отнято право на всякую духовную жизнь, с людьми великими, значительными, чей авторитет не нуждается в утверждении. Недаром в журнальном варианте *Записок* Хорь походит на Гете, Калиныч — более на Шиллера. В ка-

---

<sup>14</sup> Там же, с. 116 - 117.

<sup>15</sup> См. „Отечественные записки” 1857, № 4, с. 55.

ноническом же тексте осталось лишь сопоставление Хоря с Сократом и с Петром Великим:

Всех его распросов я передать не могу, да и незачем, но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которое, вероятно, никак не ожидают читатели, — убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он непрочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему нравится, что разумно — того и ему подавай, а откуда оно идет — ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря „любопытный народец и поучиться у них он готов“<sup>16</sup>.

Традиционное представление о „маленьком человеке“, его классическая модель, воплощенная с наибольшей силой в гоголевской *Шинели*, в произведениях Григоровича и Тургенева все же разрушалась. Антон-Горемыка, отец и сын Тоболеевы (*Бурмистр*), жалкий мужичонка, задержанный при порубке леса (*Бирюк*) как бы продолжают хронологически литературно-историческую традицию в изображении маленького человека, представляя его новые социальные разновидности, но во второй половине XIX века это уже одна из осознаваемых писателями задач, в некоторых случаях даже один из способов характеристики и оценки трудового народа.

Высокий уровень социально-исторического мышления и нравственно-психологического обобщения позволяет Тургеневу увидеть нечто общее в Хоре и Петре Великом, изначально присущее русскому национальному характеру, сохранившееся теперь именно в крестьянстве, несмотря на чуждые социально-культурные наслоения, несмотря на жестокость крепостничества, приводящего к материальному обнищанию и духовному застою. Но паразитирующий класс больше подвержен нравственной деградации. Поэтому Тургенев и видит в народе единственного хранителя национальной психологии и нравственной культуры, носителя той духовности в высоком смысле слова, которая в XVIII веке еще могла проявиться в личности Петра I, теперь же правящие классы, их представители, практически ни на что великое неспособны.

Конечно, это была новая национально-историческая концепция русского народа и соответствующая ей новая литературно-историческая роль „маленького человека“, но маленького лишь номинально, по своему социальному и материальному положению. Это уже был скорее простой человек, народный характер. Такие, как Хорь или Герасим из примыкающей к *Запискам* повести *Муму*, были лишь в социальном плане маленькими людьми, в нравственно-психологическом и философском — людьми крупными. На них отложились какие-то черты рабского существования, но не убили в них ощущения лич-

---

<sup>16</sup> И. С. Тургенев, *Записки охотника*. В кн.: Собр. соч. в 12 томах, т. 1, Москва 1975 с. 16.

ности, своего человеческого достоинства. Сочувствие и сострадание к таким героям граничит уже с восхищением ими, а то и прямо заменяется этим чувством.

*Севастопольские рассказы* Л. Толстого, изобразившие русских крестьян в новой социально-исторической роли, по существу полностью лишили простого человека — бывшего крепостного — комплекса социально-психологической ущербности. Солдаты нередко превосходят офицеров силой своего духа, чувством локтя, коллективизмом. Если они как личности не очень склонны к рефлексии, то в военной обстановке это, может, даже и лучше. Рядовые участники севастопольской обороны представляют не только материальную силу, но и духовную мощь русского народа. И это характерно не только для *Севастопольских рассказов*, но и для *Войны и мира*. Простой человек, вроде капитана Тушина, выглядит несмелым и подавленным перед лицом чиновничье-государственной или военной бюрократии, но эта социально-психологическая ущербность, прививаемая системой правления, начисто пропадает, когда речь идет об исторической судьбе страны, когда „маленький человек” участвует в великом деле. Здесь все составляющие прежнюю модель такого персонажа выступают, как нетрудно заметить, в иной функциональной роли, разрушая привычные представления о прежнем сверхтипе. По большей части это лишь ассоциации, явная и скрытая полемика с предшественниками по теме и одновременно ее диалектическое осознание.

Вторая половина 50-х годов вновь ознаменована обращением к очерковому воссозданию крестьянской жизни. На арену литературной борьбы выдвигалась теперь школа Даля, до известной степени возросшая на полемике с творческими принципами Тургенева и Григоровича. Не только Чернышевский, но и П. Анненков ощущали необходимость нового слова. Изображение непостижимо загадочного мира русского крестьянства лишало его конкретно-социальной определенности, вводило в ту „туманную даль”, которую уже освоили в качестве своей вотчины славянофилы. Интересы общественного развития той поры требовали знания прежде всего экономического положения и конкретно-исторической социальной психологии русского крестьянина, — как поведет он себя в возможной будущей революции — таков был немаловажный вопрос. Писатели-разночинцы, властно заявлявшие о себе в тот период, были сильны „социологичностью” своего творчества в первую очередь и могли в большой мере удовлетворить появившуюся общественную потребность. Вот почему в беспощадном реализме Н. Успенского Чернышевский увидел явление знаменательное, в основе которого лежала смена угла социального зрения — дворянской концепции, идеализировавшей, по мнению шестидесятников, народ, на разночинскую — более близкую этому народу. Все это в значительной степени облегчало задачи революционно-демократической пропаганды как в форме художественных произведений, так и в форме литературно-критических статей. Н. Чернышевский в работе *Не начало ли*

*перемены?* не только сумел высказать острые политически-злободневные мысли, но и по сути призвать общество к выступлению против крепостничества:

Мы замечали, что решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого бы не поднялась рука изобличать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу<sup>17</sup>.

Усилия писателей-разночинцев — Н. Успенского, В. Слепцова, А. Левитова, Ф. Решетникова имели, конечно, же в первую очередь ощутимый конкретно-социальный смысл, произведения их не отличались значительными художественными открытиями. Поэтому не совсем справедливо замечание Г. П. Бердникова о том, „что хотя Н. Успенский идилично сострадательному тону литературы 40-х годов противопоставил горькую правду «идиотизма деревенской жизни», это ничего не разъяснило в облике русского мужика”<sup>18</sup>.

Кое-что все-таки разъяснило. Дало громадный фактический материал для социологических выводов о действительном материальном положении крестьян, об их темноте и забитости, позволило более трезво их оценить. Но, разумеется, в художественном отношении все это было ощутимым шагом назад в сравнении с творчеством Григоровича, Тургенева, Толстого.

Опыт литературы этих лет со всей очевидностью показал, что человек из народа, принципиально соотносимый с традиционным типом „маленького человека” вряд ли является лишь литературной разновидностью последнего или конкретно-исторической формой его существования. И говоря о народном характере, мы чаще всего теперь видим лишь элементы, всякого рода „оттапливания” от весьма совершенной когда-то модели маленького человека в русской литературе.

В конце 50-х—начале 60-х годов XIX века ощущается насущная необходимость разделения сфер социологии научной и социологии литературной. Последняя по существу отражала социальную психологию, если не учитывать более поздних по времени появления произведений, вроде *Четверть лошади* Г. Успенского или некоторых статистических выкладок в творчестве Чехова, особенно в *Острове Сахалине*. Литература той поры не могла поднять многие чисто социологические проблемы и осветить их в достаточной полноте, хотя у критики, нередко пропагандирующей революционную программу действий,

<sup>17</sup> Н. Г. Чернышевский, указ. соч., с. 884.

<sup>18</sup> Г. П. Бердников, *А. П. Чехов. Идеино-творческие искания*, Ленинград 1970, с. 57.

не было возможности подтверждать свои выводы „нелитературным материалом”.

Вот почему Н. Добролюбов в протесте Катерины из драмы Островского *Гроза* видит индикатор общественного настроения, а ее героиню называет „лучом света в темном царстве”. Писарев отказывает Катерине в возможности что-либо освещать, поскольку, по его мнению, она недостаточно развита, чтобы понимать смысл социального процесса. Конечно, Писарев требует от Катерины едва ли не сознательного, самостоятельного социологического мышления. Героиня пьесы могла стать героиней своего времени лишь благодаря усилиям революционно-демократической критики. Нельзя забывать, что у Добролюбова это был лишь повод для разговора с проницательным читателем.

Немало фактов для выводов социологического свойства давало в ту пору творчество М. Салтыкова-Щедрина. Продолжая гоголевскую традицию, Щедрин хотел опереться на нее не односторонне, как это сделали многие писатели „натуральной школы”, а освоить во всей полноте. Ведь у Гоголя в чиновничьем мире были не только Башмачкины, но и Хлестаковы и Кувшинные Рыла. У Щедрина также, наряду с Нагибиными, встречаются и Иваны Петровичи.

Диалектически гибкая социологическая концепция народа у Салтыкова-Щедрина, понимание его как исторических, так и демократических черт, давала писателю возможность видеть и отражать не только терпеливость и покорность, способствующих выдвигению Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых, но и его социальную активность, стремление выйти из угнетенного состояния. Чиновники в этой системе политических представлений писателя заняли свое, далеко непристижное место. По мнению Чернышевского, Щедрин „очень хорошо понимает, откуда возникает взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено”<sup>19</sup>.

Критик тонко понимает наличие в творчестве Щедрина совершенно определенной социологической концепции. То, что у Гоголя представало чертой социальной психологии, характеризовало межличностные отношения в чиновничьем мире, у Салтыкова характеризует саму систему, государственный строй. Это — то и бросает тень на репутацию прежнего „маленького человека” в чиновничьем обличье. Он чаще всего не вызывает сочувствия и в силу нравственной нечистоплотности данной социальной среды и в силу социальной весьма непристойной функции последней — именно эта социальная группа является опорой несправедливого государственного строя. Так социология эпохи взаимодействует с литературой своего времени, способствует переоценке некоторых художественных явлений.

---

<sup>19</sup> Н. Г. Чернышевский, указ. соч., (т. IV, 1948), с. 633.

Разложение крестьянской общины в пореформенный период, появление, с одной стороны, Колупаевых и Разуваевых, обнищание и пролетаризация крестьянских масс, — с другой, — нашло воплощение в творчестве Г. Успенского, С. Каронина (Н. Е. Петропавловского), беллетристов-народников Н. Наумова, Н. Златовратского и др. Однако художественный уровень произведений большинства из этих писателей был невысоким, порою усредненным, настолько, что не всегда одного автора можно было отличить от другого. Наиболее талантливый среди них — Глеб Успенский, но и его творчество, в чем и заключено принципиальное новаторство этого писателя, нередко поверяется, а то и прямо восходит к сферам экономики и социологии.

К моменту прихода Чехова и в литературу крестьянско-чиновничья тема в плане выражения в ней „маленького человека” была как будто исчерпана. И писатель это хорошо сознавал: „Брось ты, сделай милость своих угнетенных коллежских регистраторов! Неужели ты нюхом не чуешь, что это тема уже изжила себя и нагоняет зевоту”<sup>20</sup>, — пишет он брату Александру еще на заре своей литературной деятельности. Сам писатель отдает определенную дань чиновничьей теме — рассказы *Толстый и тонкий*, *Мелюзга*, *Ушла*, *Смерть чиновника* и др., но он либо отражает процесс измельчания человека этой социальной категории, либо смеется задорным смехом там, где раньше лили слезы. Изменение авторского отношения к коллежским регистраторам, лишенным ореола сострадания, связано, конечно, с ростом общественного самосознания, с представлением о незавидной государственной функции чиновничьего мира, порождающем охранительную рабскую психологию. После Щедрина думать иначе было, очевидно, невозможно. У Чехова нередко бывший раб превращается в тирана и господина — рассказ *Торжество победителя*. И здесь не происходит каких-то существенных метаморфоз в психологии, сознании персонажа, а имеет место саморазвитие по существу единого социально-психологического комплекса личности.

Рассказ *Смерть чиновника* в каком-то смысле вновь воссоздает знакомые читателю ситуации из гоголевской *Шинели* и *Бедных людей* Достоевского, но осмысляются эти эпизоды принципиально иначе. Акакий Акакиевич помер не только от утраты дорогой для него шинели, но и от гнева его превосходительства. Генерал припугнул бедного чиновника из августейшего озорства — сам он недавно стал Значительным лицом. Эффект оказался чересчур сильным — гоголевский персонаж не выдержал эксперимента. Но Башмачкина по-человечески жалко.

Смерть чеховского Червякова не вызывает особого сострадания. Погибает не человек, в высоком и благородном смысле слова, мера вещей, как утверждали древние, не создание, равное богу, как думали мыслители Воз-

---

<sup>20</sup> А. П. Чехов, *Письмо Ал-ру П. Чехову*. В кн.: Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. I, Москва 1974, с. 62.

рождения и Просвещения, а функционировавшее ничтожество — рабский продукт ненавистной общественной системы, опасное для окружающих существо, ибо оно больше смерти боится, как бы его не заподозрили в вольнодумстве, „в неуважении к персонам”, в каких-либо гражданских чувствах и мыслях. То, что когда-то Макар Девушкин ставил себе в заслугу, в новых общественных условиях не только не вызывает снисходительного сочувствия, но попросту смешно и ненриязненно жалко. Вспомним Достоевского: „Но в больших проступках и продерзостях никогда не замечен, чтобы этак против постановлений что-нибудь или в нарушении общественного спокойствия, в этом я никогда не замечен, этого не было; даже крестик выходил — ну да уж что!”<sup>21</sup>.

И начальник Девушкина Евстафий Иванович твердит генералу, оправдывая своего подчиненного: „Не замечен, ни в чем не замечен, поведения примерного”<sup>22</sup>.

Если бы речь Червякова развернуть в более обширный монолог, то, вероятно, и он говорил бы примерно те же слова, но воспринимались бы они в чеховском литературном контексте совсем по-другому.

Осознанная обществом социальная функция чиновничества изменила отношение к последнему как в литературе, так и в жизни. „Христианская любовь” к ближнему все более становится социально дифференцированной. Недаром Куприн, по воспоминаниям К. Чуковского, издевается над слабеньким тшедушным старикашкой, взявшись отрастить ему волосы перед свадьбой и смазавший будто для этой цели его темя какой-то ужасной зеленой краской, сдавившей при высыхании крохотную головку человечка. Как будто негуманно, неблагородно, да еще со стороны писателя. Оказалось, что „этот художочный субъект, с виду такой безобидный и жалкий, был зрителем одесской тюрьмы, ярый черносотенец, погромщик”<sup>22</sup>.

Но вернемся опять к Чехову. Рабская психология — характерная черта не только чиновников в царской России. Вот учитель Беликов из рассказа *Человек в футляре*, всю жизнь живущий в страхе, „как бы чего не вышло”. выразитель предельного социального консерватизма. Беликов чем-то напоминает Башмачкина — он холост, ему за пятьдесят. Погибает чеховский персонаж от смехотворного происшествия — девушку, которую прочили ему в невесты, он увидел едущей на велосипеде, а когда заявил о „непорядке” ее брату, был спущен с лестницы. Персонаж погиб от столкновения с жизнью, не вмещающейся в его футлярные представления. Но и его гибель не вызывает глубокого сочувствия: охранительно-чиновничье отношение к миру, к задачам воспитания подрастающего поколения — явление социально опасное. И опять-таки в силу существенных нарушений функции составляющих модель „маленького человека” компонентов мы имеем здесь дело с иным литературным

<sup>21</sup> Ф. М. Достоевский, *Бедные люди*, указ. соч., с. 62.

<sup>22</sup> Там же, с. 93.

характером, хотя ассоциативные связи и дают нам возможность вести об этом речь в связи с рассматриваемой темой.

„Маленький человек” как таковой небезразличен Чехову, он не сводится у него к чиновничье-бюрократическому варианту данного типа. Наоборот чиновничья среда как бы не в состоянии теперь представлять данный сверхтип. Особенно пронзительно звучит у Чехова тема „маленького человека” при изображении тех сфер социальной жизни, которые уже как бы „прошла” очерковая литература, не оставив ярких художественных впечатлений. Жизнь извозчиков, мастеровых, детей бедняков воссоздается в присущей изображению маленького человека тональности. *Горе, Тоска, Ванька, Скрипка Ротшильда* — вот где ощутима боль за человека у Чехова.

Чеховские персонажи из народа никак не представляют обезличенную социально-групповую психологию своей среды, как это нередко случалось у разночинцев или беллетристов-народников. На них все больше распространяется принцип индивидуализированного подхода и изображения, выработанный в другой литературной сфере, скажем, в творчестве Толстого. Тонкий артистизм чеховского письма прямо противопоставлен общему для беллетристов-народников стилю и тону.

Нельзя не отметить, что в творчестве Чехова все чаще усиливается контраст между привычными сферами и компонентами изображения „маленького человека” в литературе предшествующего периода. Бесправному социальному положению, материальной бедности не всегда сопутствует психологическая подавленность и смирение. Так, гробовщик Бронза в *Скрипке Ротшильда*, равно, как и его временный оппонент — бедный еврей-музыкант по фамилии Ротшильд, возвышаются над тяготами жизни в тот момент, когда они причащаются к великому искусству. Ванька Жуков трогает читателя не одной своей бедностью. В своем неумелом письме он выражает глубины детской психики и сознания, становится значительным лицом, вопреки тому, что он ведь по сути лишен детства.

Опыт изображения „маленького человека” в русской литературе — на этой теме формировались ее гуманистические принципы — не прошел для Чехова бесследно. Даже в Анне Карениной Толстого есть что-то родственное ощущениям этого сверхтипа, хотя ее социальный статус и не имеет ничего общего с общественным положением Самсона Вырина или Акакия Башмачкина. Да и проявляется этот своеобразный комплекс в момент безвыходности, сведения счетов с жизнью. Во многих произведениях Чехова, рассказывающих о людях иной социальной судьбы звучит эта боль за человека, будь то *Крыжовник, Ионыч, Дом с мезонином, Дама с собачкой*. Горький, например, осмысливая человека в плане социальной проблематики, верно улавливал более широкий смысл общегуманистического принципа, освоенного русской литературой прежде всего при воссоздании рассматриваемого здесь типа, проявляющегося практически во всех чеховских созданиях. Вот что писал Горький

Чехову, имея в виду *Даму с собачкой*: „Как здорово вы ударили по душе и как больно, но послушайте, чего вы добьетесь такими ударами, воскреснет ли человек от этого”<sup>23</sup>.

Воскрешение человека Горькому виделось в социально-преобразовательном плане, но готовить его надо было и средствами искусства. В чеховском творчестве как бы синтезировались достижения всей русской литературы XIX века. Художественные принципы изображения представителей других более благополучных сословий переносились на человека страдающего, терпящего от несправедливости жизни, а опыт воссоздания традиционно „маленького человека” был небезразличен для воплощения социально отличающихся от него персонажей.

Г. П. Бердников указывает на характерные черты синтеза двух направлений — тургеневского и разночинско-демократического в его произведениях: „Чехов стремится вновь, как и Тургенев, обратить внимание на общечеловеческие черты характера своих героев, однако сохраняя при этом специфические особенности их социального облика”<sup>24</sup>.

Контекст этих оценок и наблюдений связан с содержанием и принципами художественного изображения персонажей из народа в чеховских произведениях второй половины 80-х годов. Эти рассказы писателя имеют отношение и к теме „маленького человека”, они как бы вдвойне полемичны.

При изображении „чудаков” — выходцев из народных низов — Егора (*Егерь*), Савки Стукача (*Агафья*), писатель лишает их той многозначительной загадочности, которой окружены Калинич или Ермолай у Тургенева и которых Л. Лотман, как помним, готов был рассмотреть в качестве безупречного нравственного образца. То ли от имени рассказчика, то ли от имени персонажей Чехов дает своим „чудакам” убийственную социально-нравственную характеристику, опирающуюся на представления народно-трудоу морали.

Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это баловство, а у вас оно как бы и ремесло... занятие настоящее, — говорит своему непутевому мужу Пелагея<sup>25</sup>.

Как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного<sup>26</sup>.

Однако Чехов полемизировал не только с Тургеневым и гуманистическим максимализмом дворянских писателей по отношению к простому человеку. Его литературная социология существенно отличалась от социологии народнической, которую нередко лишь иллюстрировала их собственная белле-

<sup>23</sup> К. Чуковский, А. И. Куприн. *Вступительная статья к собранию сочинений А. Куприна в 9-ти томах*, т. I, Москва 1961, с. 4.

<sup>24</sup> Г. П. Бердников, указ. соч., с. 65.

<sup>25</sup> А. П. Чехов, *Егерь*. В кн.: Полн. собр. соч. и писем, т. 4, Москва 1976, с. 80.

<sup>26</sup> А. П. Чехов, *Агафья*. В сб.: Мужики. Повести и рассказы, Ленинград 1973, с. 42.

тристика. Попытки прямолинейно социологически объяснить проблематику и персонажей чеховских произведений часто были обречены на неуспех. Два крупнейших идеолога русской общественной мысли — глава легальных марксистов П. Струве и вождь народнического движения Н. Михайловский „схлестнулись” в оценке чеховских *Мужиков*. И тот и другой рецензент старались истолковать содержание повести прежде всего в социологическом плане, рассмотреть ее как художественную иллюстрацию к своим концепциям общественной жизни — в одном случае со знаком „плюс”, в другом — „минус”. Но повесть как бы противилась прокрустову ложу их социологии. „Трактирная цивилизация”, которая, по мнению Струве, была принципиально выше традиционного социально-нравственного уклада крестьянской жизни, — явление скорее субъективно-психологического порядка. Связано оно с идеализацией большим Чикельдеевым своей прежней городской жизни. В силу социальной наивности мир „маленького человека” Ольги Чикельдеевой также может показаться по этой же причине — в связи с „трактирной цивилизацией” более привлекательным, чем духовное состояние „мужиков”. Но социальная судьба Ольги после смерти мужа и особенно ее дочери Саши, по наброскам Чехова, весьма драматична в той же Москве, куда они возвращаются.

Показанный в этой повести „идиотизм деревенской жизни” содержал не только социально-обобщенную оценку последней. Это еще бы могло устроить в какой-то мере Михайловского, но для него было неприемлемо чрезвычайно трезвое отношение ко всему этому писателя, отсутствия даже намека на какую-либо идеализацию деревенских устоев, наконец, ответственность в какой-то мере за свое положение и самих Чикельдеевых.

Ведь прав по-своему и староста Антип Сидельников, замечаящий: „Действительно, Чикельдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих, причина вся — водка, и озорники очень”<sup>27</sup>.

Литература этой поры обращается к исследованию во всей глубине человеческой личности. Ее интересуют индивидуальные черты всех персонажей, в том числе и „маленького человека”. Это вносит новые изменения в прежнюю модель, все чаще социально угнетенный и обиженный персонаж пытается противостоять враждебным ему обстоятельствам и тем самым выходит за пределы сферы существования в литературе „маленького человека”. Еще карла Николай Афанасьевич из *Соборян* Лескова не желал быть вещью своей помещицы-крепостницы и как будто бы благодетельницы (она хотела сосватать за него у другой помещицы такую же карлипу). К концу века в силу известных социальных причин эти тенденции стали проявляться, как в жизни так и в литературе с исключительно большой силой. Катюша Маслова из *Воскресения* Толстого на каком-то этапе своего жизненного пути чувствует

---

<sup>27</sup> А. П. Чехов, *Мужики*, указ. соч., с. 149.

свое превосходство перед князем Нехлюдовым и, в конце концов, уже она отвергает его.

Беспаспортный бродяга старик Лодыжкин (*Белый пудель* Куприна) чувствует свое нравственное превосходство перед хозяевами жизни. Социально угнетенные люди, несмотря на ухудшающееся их материальное положение, условия жизни (даже Чикельдеевы признают, что таким, как они при барах жилось несравненно лучше), умеют теперь постоять за себя, оказать решительное сопротивление попыткам вмешаться в их личную жизнь. Сочувствие и помощь всякого рода благодетелей из социально чужого класса нередко лишь усугубляет их положение. Вряд ли будет какая осязаемая польза благодетельствованным с помощью Лидии Волчаниновой крестьянам, если не изменить коренным образом условия их жизни (*Дом с мезонином* Чехова), не посоветуй Иван Тимофеевич у Куприна пойти в церковь Олесе, она бы не была избита фанатичной толпой и ей не пришлось бы вместе с бабкой срываться с насиженного места. Само сочувствие и сострадание к „маленькому человеку” все чаще предстает социально дифференцированным.

Все меньше маленький по своему социальному положению человек нуждается в сочувствии, все более „дерзко” он ведет себя с точки зрения представителей господствующих классов. Немыслимая для прежних лет любовь телеграфиста Желткова к княгине Вере (*Гранатовый браслет* А. Куприна) делает его во многих отношениях человеком значительным. Недаром выражение его мертвого лица напоминает Вере „маски великих страдальцев”.

Эпоха социальных катаклизмов, разорение отдельных представителей даже господствующих прежде сословий, опускание их на дно жизни и смещение в связи с этим социально-нравственных представлений и ориентаций, появление доводимого до полной нищеты пролетариата — расширяет жизненную базу формирования „маленького человека”.

В этот период в русскую литературу приходит Горький, которого сразу же определяет современная ему литературная критика как „певца босячества”. Смещение социального и даже нравственного акцента в литературе весьма знаменательно. Если в чеховском рассказе *Встреча* патриархального склада мужик Кузьма, собирающий деньги на строительство храма, своей степенностью, рассудительностью, какой-то нравственной прочностью по всем статьям превосходит навязавшегося в спутники бродягу Ефрема (к тому же обворовавшему Кузьму), то в горьковском *Челкаше* подобный нравственный поединок завершается не в пользу деревенского парня Гаврилы. Горьковские „босяки” отмечены беспримерным чувством собственного достоинства и, несмотря на многие присущие им недостатки, они то и дело демонстрируют свое субъективно-групповое превосходство над характерными представителями более-менее еще благополучных социальных классов. Челкаш дает урок человеческого благородства Гавриле, Мальва и Макар Чудра — выше по своему сознанию консервативно мыслящих собственников-крестьян, „голодная

проститутка” из рассказа *Однажды осенью* (так определил ее критик Е. Ляцкий) раньше рассказчика, представляющего из себя „социально-активную силу”, находит выход из конкретной жизненной ситуации, подсказывает ему „что делать”. Все это были уже персонажи, лишенные ощущения своей социальной ущербности, умеющие сопротивляться жизненным невзгодам, а кроме того, — способные решительно изменить жизнь, на первых порах свою собственную (социальный протест босяков был чрезвычайно ограниченным, в силу их анархизма почти не имел конструктивного характера).

Составляющие прежнюю модель „маленького человека” внутренние компоненты все больше вступают в противоречивые отношения друг с другом. Житейской нищете далеко не всегда соответствует нравственно-психологическая ущербность или подавленность. Вот горьковский рассказ *Страсти-мордасти*, в котором нетрудно обнаружить полемику с принципами изображения раздавленного жизнью человека в классической литературе. Героиня этого произведения Машка Фролиха живет в атмосфере ничем не прикрытой аморальности. Живет она в подвале, пьет и опустилась до предела человеческой нищеты. Но тем не менее она не утратила в каком-то смысле оптимистического отношения к жизни, светлых человеческих чувств к своему сыну — калеке Леньке. Предлагая себя рассказчику в знак благодарности за сына, она „улыбается улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем благодарить”<sup>28</sup>.

Так человеческая личность с ее волевым началом, своеобразным темпераментом и эмоциональным миром оказывается выше и нищеты жизни, и осуждающего ее общественного мнения. Фролихе почти безразлична общераспространенная мораль, роль изгоя в своей социальной среде исполняет она мужественно и в какой-то степени даже безумно — в этом ее спасение. Но это все не значит, что путь ее безмятежно светел. Знакомы ей и психические срывы, и сомнения, и угрызения совести. Речь может идти лишь о доминирующих признаках ее поведения. Безногий Ленька фактом своего существования поддерживает мать на этом свете: „Без него утопилась бы”<sup>29</sup>, с улыбкой замечает Фролиха. Автор полон пронзительной жалости к своей героине, и к этому Леньке — одному из „детей подземелья”, изображенному, правда, в несколько иной тональности, чем персонажи Короленко. Леньке свойствен жизненный оптимизм при всей завидности его судьбы: „Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой жгучей жалости к нему”<sup>30</sup>, — замечает автор.

Горький не отказался от сочувствия к „маленькому человеку”, теперь уже не только в непосредственно социальном смысле. Однако между состав-

<sup>28</sup> А. М. Горький, *Страсти-мордасти*. В кн.: Собр. соч. в 30-ти томах, т. 18, Москва 1951, с. 384.

<sup>29</sup> Там же, с. 381.

<sup>30</sup> Там же, с. 383.

ными компонентами персонажа в его изображении совсем иные пропорции, чем те, которые были в классической русской литературе.

Горькому не чуждо изображение персонажей такого типа и в более менее привычной для литературной традиции манере, возможно, они воссоздаются с гораздо меньшими подробностями. Но это и Арина из рассказа *Скуки ради*, и Матрена из *Супругов Орловых*, правда, в первой части рассказа, и Анна из пьесы *На дне*, и Ленька из повести *Дед Архип и Ленька*. Некоторые из этих персонажей бунтуют против жизни, порою даже им удается вырваться из безысходного положения (Матрена), порою ценою жизни утвердить свое человеческое достоинство (Ленька).

Таким образом, человек из народа, маленький по своему социальному статусу человек, представление о котором было осложнено общинными, родовыми концепциями, на переломе XIX и XX веков выступает все чаще в литературе как полноценная и полнокровная личность, вырывающаяся из-под гнета обстоятельств. Этому во многом способствовали и социальные революционные процессы — участие масс в борьбе против господствующего строя.

Забитая Ниловна из горьковского романа *Мать*, связав свою судьбу с освободительной борьбой народа, перестает быть „маленьким человеком”. Понимание огромной социальной роли народных масс в истории, подкрепляемое марксистской идеологией, ощущение единства отдельных их представителей со своим классом, существенно меняет прежние концепции „маленького человека” как в социологическом, так и в литературно-художественном смысле. В советское время М. Горький написал полемическую статью *О маленьких людях и о великой их работе*, в которой подчеркнул эту созидательную роль простых людей в развитии человеческой цивилизации. Они-то и являются, по Горькому, подлинными героями, при всей своей кажущейся скромности и незаметности в условиях угнетения человека человеком. Социологические представления такого рода констатировали завершение темы „маленького человека” в его прежнем понимании как в жизни, так и в литературе.

Советская литература 20-х годов изображала простых людей, как творцов исторического процесса, хотя в отдельных произведениях Вс. Иванова, И. Бабеля, Б. Лавренева и подчеркивалась их трогательная наивность, порою даже детскость.

Однако после появления первых книг *Тихого Дона*, в которых Шолохов раскрыл богатый духовный мир донского казака — а если смотреть шире — русского крестьянина, — уже не оставалось места ни для наивности, ни для снисходительной сентиментальности в представлениях о простых людях.

В советской критике 60-х годов нашего века отмечались попытки усмотреть развитие темы „маленького человека” в литературе того времени. При широкой возможности внедрения в литературный процесс всякого рода реминисценций, притяжений и отталкиваний от каких-то классических моделей изо-

бражения человека, в советской литературе все же не было сколько-нибудь значительного персонажа, ощущающего свою социально-психологическую ущербность, заботность, безропотное смирение, покорно капитулирующего перед жизнью.

„Рядовой труженик”, „человек из народа”, „простой человек”, несмотря на невероятно трудные ситуации, в которых ему приходится порою жить и действовать проявляет высокие качества своего народного характера, демонстрирует значительные духовные ценности. Его нравственное содержание представляет интерес для всех членов современного общества.

Этим, пожалуй, и объясняется невероятный успех у читателя современной „деревенской” прозы. По своим определяющим признакам перед нами не „маленький человек”, а все же иной социально-литературный феномен.

#### “LITTLE MAN” IN RUSSIAN LITERATURE OF THE NINETEENTH CENTURY

by

ALEXANDER GUTOV

#### Summary

In the article the author presented the social and psychological peculiarities of “little man” in Russian literature. Just these peculiarities determine concretely the historical roles in the Russian historio-literary process.

These peculiarities resolve themselves to the legally restricted social situation and the psychic imperfection of the figure of “the little man” connected with this situation. At the same time the author emphasizes the sympathy which either the author or the narrator feel for such a hero.

The author of the article also presents the analysis of evolution of this hero up the modern Soviet literature, inclusive.